

*

Всякая жизнь начинается с женщины, так случилось и со мной. С рыжеволосой женщиной, что входит в комнату, на ней льняной костюм, который она вытащила из шкафа ради особого случая. Она купила его на блошином рынке на Порта Портезе, там, где продают не совсем грошовые шмотки, а фирменные вещи, но с большой скидкой, с ними рядом висит табличка «Цену уточняйте».

Эта женщина — моя мать, она сжимает в левой руке черный кожаный портфель, сделала себе укладку с помощью бигуди и лака, расческой подняла челку. У нее желто-зеленые глаза и оставшиеся еще с конфирмации туфли на низком каблуке. Она входит, и комната становится меньше.

Служащие сидят за столами, а моя мать простояла три часа на углу здания, прижав портфель к груди, и, рассказывая это, она вспоминает, что ноги стали ватными, а слюна — кислой.

Она подходит к одному из столов, покачивая бедрами; ее опережает запах парфюма, которым она пытается перебить душок от приготовленной на обед чечевицы. Она говорит:

— Я к инспектору Раньи, мне назначено.

Она повторяла эту фразу перед зеркалом, и в трамвае, и в лифте, и стоя на углу: «Мне назначено».

Мягко, задорно, решительно, с пришепетыванием, как ни в чем не бывало, и теперь она говорит это девушке без обручального кольца на пальце, с волосами, собранными в хвост на макушке; та смотрит на нее и видит слегка помятый льняной костюм и потрескавшуюся кожу на ручке портфеля.

Девушка смотрит в лежащую перед ней записную книжку.

— Как вас зовут?

— Антония Коломбо, — говорит моя мать.

Девушка еще раз сверяется с записной книжкой, куда занесены все посетители инспектора Раньи; быстро пробегая пальцем по строкам, ищет ту самую Коломбо, но не находит.

— Вас нет в списке, синьора.

Моя мать изображает на лице гримасу, которую она отработывала снова и снова, размышляя, какую мину соорудить в нужный момент. Ей пришлось продумать каждое мгновение этой встречи, в подробностях представляя, что произойдет, и гримаса удалась ей на отлично: выражение лица деловой женщины, утомленной задержками и чужим непрофессионализмом.

Моя мать говорит:

— Послушайте, я договорилась о встрече еще неделю назад. Я адвокат, и синьора Раньи обещала, что сегодня примет меня, мы сильно опаздываем с подачей документов.

Гримаса на ее лице — притворная, а нетерпение — такое же настоящее, как жмущие туфли и потные высокие мужчины в трамвае.

Они обмениваются еще парой реплик, и Антония Коломбо продолжает стоять на своем — она убеждена, что так и следует поступать: занять позицию и не сходить с нее.

Девушка с записной книжкой сдается, ведь рыжеволосая женщина уверена в том, что говорит, а никто из коллег даже не поднял глаз от вверенных им бумаг, потому что спор еще не разгорелся в полную силу. Поэтому она открывает дверь с табличкой «Инспектор Раньи», и моя мать входит, переступая порог, отделяющий ее от будущего.

Она видит перед собой еще одну женщину, одетую в костюм из пиджака и юбки из черной в зеленый горошек ткани, и ждет, пока дверь закроется у нее за спиной.

Она и инспектор смотрят друг на друга; чиновница будто копается в ящике стола, но затем быстро закрывает его, позади нее — огромный книжный шкаф с пособиями по юриспруденции, и моя мать точно знает, что никогда не обзаведется таким количеством макулатуры, ведь она занимает место и стоит денег.

— Вы кто такая? — спрашивает инспектор Раньи, закидывая ногу на ногу.

— Антония Коломбо, — отвечает моя мать и добавляет: — Мы не знакомы, и мне не назначено.

На несколько секунд наступает непроницаемая тишина, пока Антония не решается снова заговорить:

— Вы меня не знаете, но у вас на столе лежат мои документы, запрос на регистрацию, я уверена, он там, в этой кипе, там есть и я; я живу на улице Монтеротто, дом шестьдесят три, точнее, не живу, мое место жительства официально не признано, это двадцать квадратных метров в цокольном этаже, счета приходят не на мое имя, а я обязана платить штрафы за то, что самовольно заняла жилое помещение; я уже внесла залог, чтобы не съезжать, хочу оформить все по закону, ведь уже пять лет прошло.

Инспектор вскакивает со стула, теперь видно, что она невысокого роста. Она снимает очки, круглые, в черепаховой оправе, в ярости швыряет их на стол, криком приказывает моей матери пойти прочь.

— Я была в ваших инспекциях, прошлась по всем инспекциям, принесла документы, что вы просили, я вышла замуж за мужчину, который жил со мной, уредила его усыновить моего ребенка, я создала семью, я отвечаю всем требованиям, — говорит моя мать.

Инспектор принимается куда-то звонить, потом бросает трубку, грозит вызвать полицию, требует, чтобы моя мать убиралась сию же секунду, — как она вообще посмела обманом проникнуть к ней в кабинет? Эту фразу она говорит, повысив голос:

— Как вы посмели?

Моя мать садится на пол по-турецки, подол льняной юбки задирается, открывая белые, усыпанные родинками бедра. Она простирает руки над головой и говорит:

— Я никуда не пойду, буду сидеть здесь — ради моего дома!

И она не двигается с места, сидит, раскинув руки в стороны, ее портфель лежит на полу, он пуст. Моя мать — никакой не адвокат, у нее не назначено встреч с важными людьми, у нее есть дом, где она извела мышей и тараканов, откуда выбросила кучу шприцев, и ей нужен ответ.

Инспектор отходит от стола и, нарочно задев мою мать коленом, бросается к двери, открывает ее и зовет на помощь служащих со словами:

— Здесь какая-то сумасшедшая расселась на полу, выведите ее.

Девушка с хвостом, несколько мужчин, швейцар и консьержка сбегаются на зов и видят неподвижную, как ствол дерева, женщину, мою мать: руки воздеты к потолку, платье задралось и собралось гармошкой на бедрах. У нее каменное лицо, и с ее губ срываются оскорбления и разухабистые песни.

Она думает, что никто из них не знает, как это — дойти до состояния, когда терпеть уже невозможно; после одного-двух-трех-четырёх-пяти соцработников, после одного-двух-трех-четырёх-пяти почтовых отделений, после одного-двух-

трех-четырёх-пяти государственных адвокатов, после одного-двух-трех-четырёх-пяти работников местного жилищного управления, после одной-двух-трех-четырёх-пяти анкет, которые нужно заполнить, после одного-двух-трех-четырёх-пяти штрафов, счетов, жалоб, угроз.

Служащие поднимают ее, тащат силой, хватают за руки и за ноги, и тогда ее блузка на ней расстегивается, обнажая бюстгальтер без косточек и полную грудь, юбка рвется, из-под нее виднеются трусы. Лучший наряд моей матери изодран в клочья, и она брыкается и вопит, как обезумевший дикий зверь.

А я как будто нахожусь там и смотрю на нее из угла кабинета, осуждаю ее — и не прощаю.

ДОМ ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ

Мы живем в районе, который моя мать не любит называть окраиной, потому что для этого надо иметь хоть какое-то представление о центре, а мы в этом самом центре не бываем совсем, я никогда не видела Колизея, Сикстинской капеллы, Ватикана, виллы Боргезе, Пьяцца-дель-Пополо, мы никогда не ездили на экскурсии с классом, если я куда и хожу, то только вместе с матерью на местный рынок.

Все наше жилище — пять метров в длину, четыре в ширину, мне в нем нравятся только залитая цементом площадка и клумбы, на них растет одна трава, никто даже не подумал посадить цветы, и моя мать тоже не захотела, ведь сажать что-то — значит остаться.

Квартира — это кухня, что прячется внутри шкафа, раскладушка, втиснутая под кровать Мариано, электрический обогреватель, который можно ненадолго включить, только если совсем холодно, плакат с битлами над обеденным столом и четыре разномастных стула; квартира — это слышать скрип кровати, когда родители занимаются «этим», потому что комната одна на всех, и не выйти на улицу, не закрыться в ванной, ведь и с улицы, и из ванной тоже все слышно.

Дом — это я, девчушка, которой знакома только бетонная площадка, здесь мы с братом чувствуем себя королями, это наше место и больше ничье, мы копаем, прыгаем, готовим крапиву с муравьями и мелками, принесенными из школы, изображаем на земле числа, линии, треугольники, квадраты, садимся в них и твердим, что это все наше, что мы живем здесь, внутри начерченных на бетоне фигур.

«Д-о-м», — произносим мы, нужно лишь провести несколько линий: представить стены и крышу, окна, двери.

У нас есть это место, царство наших игр и детских мечтаний, потому что так захотела наша мать. Раньше здесь были владения тараканов, мышей и шприцев — последние забрасывали с улицы через решетку, ведущую в цоколь, или оставляли те, кто спал под дверью подъезда.

Наша мать надела позаимствованные у отца высокие резиновые сапоги, собрала все шприцы, один за одним, и сожгла их перед тем, как выбросить золу.

— Если вдруг найдешь шприц, — всегда говорит она, — избавься от него, потому что, если потом на него наступит ребенок, ты тоже будешь в этом виновата, ведь ты же ничего не сделала.

Она купила яд, попросила отца принести со стройки лопату и принялась охотиться, убивать, истреблять.

После месяцев работы дворик, к которому обращена беззубая пасть нашего дома, был очищен, и мать за руку привела туда нас и сказала: «Играйте».

Чтобы заполучить это жилье, она заняла денег у бабушки: нужно было выплатить отступные родственникам старушки, которая здесь и померла.

В этом бедном районе, населенном героинщиками и дряхлыми стариками, никто бы не мог позволить себе эту заросшую плесенью халупу, да и у моей матери тоже не хватило бы денег, поэтому она договорилась с владельцами, подала заявку на регистрацию по месту жительства, чтобы затем начать поиски другой квартиры, а пока принялась ремонтировать временное жилище.

Она думала, что много времени не потребуются, что ей так или иначе удастся свести концы с концами, что нам подыщут новый дом, а мы пока поживем тут, подождем.

Но мы ждем слишком долго, так долго, что моя мать все же сдается, чинит и драит полы, перекрашивает потолок, прочищает слив в ванной, потому что муниципалитет Рима не собирается предоставлять нам новый дом.

Все держится на честном слове, уже готово рухнуть, но последний корешок умудряется уцепиться за рыхлую почву. Так продолжается до тех пор, пока моя мать снова не беременеет, а отец (мой, а не Мариано) не получает травму на работе: он падает со строительных лесов, и его разбивает паралич.

К свидетельствам о браке и об усыновлении добавляется еще одно — об инвалидности, к заявкам на пособие по безработице — заявки на субсидии для многодетных семей и на устройство моих братьев в детский сад. Мы живем, умоляя город, мэра, Италию помочь нам, приютить нас, спасти, сохранить, не забыть, наша жизнь — это непрекращающаяся мольба.

Когда рождаются близнецы, мне шесть лет, а Мариано ненавидит всех, сильнее всего — отца, который ему не отец, он из угрюмого мужчины превратился в громоздкий и обременительный придаток, как плита, он больше не работает, пылесос, который ничего не собирает с пола, водонагреватель, который после пяти минут работы снова заставляет мучиться от холода. Он стал развалюхой, и Мариано мечтает его выбросить.

Мой отец, известный крепкими оплеухами и неумной тягой к сексу, прикован к инвалидному креслу, добытому матерью через родственников в какой-то больнице, сам он почти не может шевелить ногами и за ужином почти не ест: какой смысл в еде?

Дома теперь живут мужчина, неподвижный, как статуя, как мраморная глыба, как плитка на полу, как дверной косяк, как бетонный парапет во дворе дома, и суетливая женщина, которая собирает, двигает, начищает до блеска, наводит порядок, клеит, травит, щеткой выметает воду, когда дом затапливает во время

затяжных дождей. Неподвижный мужчина — это мой отец, а неутомимая рыжеволосая женщина — это Антония Коломбо.

У меня нет игрушек и мало подруг, мне достаются лишь жалкие пародии на вещи: кукла, скроенная из оставшихся лоскутков ткани, изрисованный альбом другой девочки, ботинки, купленные на рынке, — мы несем их домой без коробки, в пакете, у них уже протерта подошва. Вместо рождественской гирлянды — мандарины, вместо куклы Барби — ее фотографии, вырезанные из журналов.

Я считаю, что мы — отбросы, не востребованные карты в сложной игре, выщербленные стеклянные шарики-побрякушки, которые уже не могут катиться: мы неподвижно лежим на земле, как мой отец, свалившийся с неправильно установленных лесов на незаконной стройке, без договора и страховки. И снизу, оттуда, куда мы рухнули, мы наблюдаем, как другие вешают себе на шею кольцо из драгоценных камней.

Близнецы — крохотные вопящие существа — спят в огромной коробке, набитой одеялами, на кухонном столе, и вонь от их подгузников смешивается с запахом супа.

Мы с Мариано не понимаем, почему мы еще здесь, почему еще ни разу не пытались сбежать; мы — я и этот темноволосый парнишка — тайно составляем план, подгадываем момент для побега, но все равно не готовы свернуть за угол, скрыться за поворотом жизни.